

ГОДЫ, ЛИЧНОСТЬ, СУДЬБА

«Я верил!»

Есть, мне кажется, какой-то неписанный, но, должно быть, вечный закон в том, что имена многих крупных художников, в силу тех или иных причин, не до конца понятых современниками при жизни, внезапно укрупняются и вырастают в нашем сознании, когда художник этот безвременно уходит. Неожиданно. В расцвете лет. На вершине своего пути, властно врезаясь в нашу память.

Как же тогда мучительно больно, как стыдно, как горько осознавать, что не воздали мы ему все то тепло, в котором подчас он так нуждался, ту признательность, которую обязаны были мы ему выразить за его труд, — художнику так часто бывает нужна поддержка! Он мужает от сознания, что нужен, труд его полезен и необходим, оценен теми, кто с ним работает. Почему же еще тогда не сказали мы ему свое «спасибо» за помощь, за неуменье беречь себя, помнить о том, что он «не вечен» и сердце его трудится с двойной нагрузкой, на износ. И так каждый день...

Таким в памяти моей среди многих других осталась фигура Бориса Ивановича Равенских.

Какими только наивысшими словами благодарности не вспоминают сейчас его спектакль «Власть тьмы» Л. Толстого, ставший событием театральной жизни и справедливо вошедший в историю театрального искусства. Спектакль, проживший на сцене Малого театра двадцать четыре года.

И другой, поистине удивительнейший спектакль «Возвращение на круги своя» И. Друцэ, ставший вершиной его творчества.

Точно скульптура, изваянная резцом мастера, точно остановившийся кадр волнующего фильма, вспоминается финал этого спектакля, когда последний, трепещущий, медленно тающий луч прожектора, дрожа, остановившись на лице умирающего Толстого, медленно гаснет, лишь на миг, лишь на какую-то долю секунды задержавшись, с тем чтобы высветлить нам его лоб — последнее, что уходит с жизнью этого великого мыслителя. И этот уходящий световой луч, сливаясь с последней нотой затихающего Шопена, которого «слушал» в спектакле Толстой, завершает наступающую темноту.

Всячески сопротивляясь показу физической смерти Толстого, Равенских долго искал художественно-философский образ «ухода» Великого Старца, и этот финал, внезапно родившись, возник в нем, словно гениальное озарение, буквально пронзая зрительный зал.

Борис Иванович был очень талантлив. Его считали человеком трудным — вернее было бы считать его человеком не по общей мерке. Да, он не был легким человеком и легким режиссером. Но может ли истинный художник, одаренный темпераментом, быть легким? Не одержимым? Послушным? И не скажем ли мы сейчас по таким неукротимым художникам, созная, что глубокие проникновения и высокие страсти не так уж часто посещают наши спектакли!

Да, чтобы работать с ним, нужно было набраться некоторой отваги, убить в себе ростки самоуверенности и научиться терпеть и прощать — одобрение Бориса Ивановича слышали немногие. Зато чего стоит краткое «Я верил!», оставленное им Ильинскому на программе премьеры. Раз столкнувшись с Равенских в

работе и порядком помучившись, вам казалось, что на вторую встречу с ним вы не согласитесь и под страхом пытки. Но проходило время, мозг ваш отдохнул от перегрузок, произошла переоценка ценностей, эмоции отступили, обиды забылись, и вы понимали, что при всех его трудностях лучше с ним, чем с теми, кому все ясно и просто. А в результате никто не поможет вам так «открыть себя» и так подняться над самим собой, как мог это сделать Борис Иванович. Уметь так «понять», «простить», «помучиться», терпеть, «набравшись отваги», в Малом театре мог Ильинский, который любил работать с Равенских и которому был бесконечно благодарен за веру и помощь.

Стоит вспомнить, что «Власть тьмы» стала поистине эталоном прочтения этого произведения, потому что в основу этой трагической истории режиссер вложил не мрачное начало деревенской темноты, а победу и торжество совести русского человека российской действительности.

Стоит вспомнить и удивительную в своем решении «Мезозойскую историю» М. Ибрагимбекова — спектакля, по разным причинам несправедливо исчезнувшего из репертуара Малого театра, где не баловали Бориса Ивановича вниманием. В «своем» театре, которому оставил он лучшие свои работы, он прожил немало горьких часов. Эта в чем-то рыхлая, но, безусловно, интересная преса мощно дышала благодаря усилиям постановщика Равенских, поместившего в центре нефтяную вышку, вокруг которой, буквально захлестывая сцену бушевал разгневанный Каспий (художник В. Ворошилов). В спектакле шел серьезный, неравнодушный разговор о дерзаниях инженера-новатора, не пожалевшего сил и самой жизни в борьбе с равнодушием и скудостью мысли.

Борис Иванович был художником удивительно русским. Его работы не всегда были равноценны — попадались пьесы однозначные, но стоит вспомнить, что лучшие его постановки всегда были пронизаны мыслью, любовью к Родине и страстным отношением к жизни. Он ненавидел мелкую правденку, он любил, чтобы словам было тесно, а мысли — просторно. Он стремился раздвигать рамки сцены, давать мизансцены широкие, пластически-острые, чтобы образнее, полнее звучали размышления о людских деяниях и духовном начале человека. И ради этого основные, главные сцены доводил до апогея. В этом он был истинным учеником Вс. Мейерхольда.

Он ушел, далеко не сказав своего последнего слова в искусстве, он рос и мужал с каждой работой и будет расти в нашей памяти и нашем сознании и дальше. Он ушел очень рано. Внезапно. Исполненный дерзких замыслов: поставить «Воскресение» Толстого и «Бориса Годунова» Пушкина — идеи, которые зародились в нем, когда все мы, участники юбилейного спектакля «Круги своя», ехали из Тулы. Взволнованный прикосновением к яснополя-

ской земле, он мечтал о чем-то крупном. Ему нужен был русский Шекспир. Большому художнику всегда кажется, что он не создал еще чего-то самого главного. Но он всегда верит в то, что сумеет это создать.

Борис Иванович не был тем «образованным режиссером» — мастером комнатных выкладок с эскизами будущих мизансцен на листке бумаги, он лепил мизансцены на площадке из живых актерских индивидуальностей. Он долго, очень долго искал, маялся, слушал, менял, путал, потому что он должен был «увидеть»: что станет в спектакле главной, высшей эмоциональной его точкой.

«Мне особенно дорого было в Борисе Ивановиче, — писал И. Ильинский, — что он принадлежал к тем могучим, любимым русским народом самородкам, которые по широте души своей, захвату жизни и отваге заставляли нас вспоминать Ломоносова, «Левшу» Лескова и Сергея Есенина. И, надо сознаться, что в нем было два человека, как и два режиссера — неуверенный в себе — словно заторможенный — несобранный, не слышавший и не видевший актера — и другой — неистовый, творчески одержимый, неспособный к усталости художник, не признающий перерывов, чаепитий, разболтанности и лени — смелый мечтатель, остроумный и беспокойный, отважный и бесконечно талантливый!»

Влюбившись в какую-нибудь сцену, он развивал и растил эту сцену, вливая в нее весь свой темперамент, изумляя выдумкой и находками. Так создал он сцену разгула Никиты во «Власти тьмы» с Акимом на печке. Так звучал в «Круги своя» ночной выстрел Ахмета с гомоном разбуженных птиц. Так решена была долгая молчаливая сцена «свадьбы», когда Толстой и Софья Андреевна стоят у стола перед зажженной свечой — прямо на зрителя, — слушая вальс своей юности, и так по-разному проходят перед зрителями в их лицах воспоминания о совместно прожитой жизни. Так поставлена была сцена «отказа» Толстого от Далира, которого отдает он в общий табун, что так велит ему совесть. И, когда последний раз слышит он его удаляющееся ржание, перед ним медленно закрываются врата в мир природы...

Я очень люблю мысль, высказанную прекрасным драматургом Александром Гладковым. Ею я и закончу рассказ о Борисе Ивановиче. «Вдохновение — это пришедшее в горячке работы главенство настроения художника над самим собой. Это — состояние, когда выражение опережает задачу и ответ рождается раньше, чем задается вопрос. Написав что-то в порыве вдохновения, после сам удивляешься, хотя понимаешь, что это тоже твое. Но только оставившее тебя позади самого себя».

Это сказано и про Бориса Ивановича Равенских.

Т. ЕРЕМЕЕВА,
народная артистка РСФСР.